

IV

ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?¹⁹

Иначе сказать — куда направляется литературная процессия, известия о которой вот уже почти два месяца непрерывно приносятся к нам петербургской и московской почтою? Какое торжество готовит вся ваша литературная братия, которая в последнее время все «пыщется гору родити»?..

18

Что за шумная история поднята вами* против *поступка* «Иллюстрации»? *Поступок*, по общему мнению публики, состоял в том, что «Знакомый Человек» по-русски писать не умеет (иначе уж, конечно, он обругал бы своих противников так, что привязаться было бы не к чему); а вы привязались к нему, как будто и к грамотному, как будто и к путному... Грешный человек, я долго не понимал, к чему и из-за чего вся эта история. Написал я к одному приятелю в Петербург, прося объяснить, что такое протест, почему протест, зачем протест? А тот отвечал мне только двумя стихами:

«В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток...»²⁰

Тогда выписал я «Иллюстрацию» (несколько моих знакомых то же сделали после вашего протеста), посмотрел,

* Не нами, вовсе не нами! Кто сказал, что нами? — *Ред.*

почитал ее: ничего — журналец, как журналец. Припомнил, не было ли за нею прежде каких-нибудь *гисторий*: никаких. До ноября месяца о ней и не знали вовсе... Она видимо старалась привлечь к себе общее внимание: и рисунки графа Толстого к стихотворениям г. Щербины печатала, и майский парад, и формы генеральских мундиров помещала, и о политике вкривь и вкось рассуждала, и о людоедах писала, и с «Северной пчелой» вела полемику... нет, ничто не помогало. Никто ее не знал, никто о ней не говорил, журналы как будто и не подозревали ее существования. Шла себе «Иллюстрация» тихо и вяло, точно длинный обоз, которого убогая и похоронная медленность не нарушается даже тем, что в некоторых возах запряжены очень горячие лошади.

И вдруг все переменялось. Как электрическая искра, мгновенно пронеслось, говорят, по Петербургу слово «Иллюстрация», по телеграфу переслана молва о ней в Москву; а оттуда быстро разъехалась по губерниям и уездам. К нам писали сюда, что у вас в литературных кругах повсюду стали рассуждать об «Иллюстрации» с таким же жаром, как год тому назад о крестьянском вопросе; в книжных лавках, в библиотеках для чтения беспрестанно, говорят, спрашивали «Иллюстрацию»; в кондитерских, выписывавших «Иллюстрацию», учетверилось количество посетителей, тогда как другие, не имевшие «Иллюстрации», опустели. «Страшно было войти в сии последние, — писал мне один знакомый; — мрак и запустение царствовали в них; служители бродили, бледные и тощие, как могильные тени; на лице хозяина написано было мрачное отчаяние...» Сказывали, что у вас даже появиться в образованное общество человеку, не читавшему «Иллюстрации», сделалось невозможным, ибо это значило бы просидеть дураком весь вечер, не имея возможности принять участие в общем разговоре. Скоро и

у нас в провинции вопрос об «Иллюстрации» оттеснил на второй план все другие вопросы, ибо стало невозможным чтение журналов без предварительных познаний в «Иллюстрации»: начиная с «Русского инвалида», о ней заговорили почти все журналы: «Русский вестник», «Атеней», «Библиотека для чтения», «Современник», «Московские ведомости», «С.-Петербургские ведомости», «Одесский вестник», «Северная пчела», даже сам «Весельчак». Одна фраза из «Иллюстрации» задавалась как тезис для глубокомысленных рассуждений, другие фразы разбирались,

19

перечитывались и переписывались с заботливостью и нежностью, достойными лучшей участи. В «Русском вестнике» одна из фраз «Иллюстрации» перепечатана четыре раза в одной и той же книжке. Лучшие наши ученые и литераторы приняли участие в движении вопроса об «Иллюстрации». Сам Н. Ф. Павлов, знаменитый критик, только в экстренных, наделавших шуму случаях берущийся за остроумное перо свое²¹, написал статейку об «Иллюстрации».

И отчего же произошла столь внезапная перемена? чему обязана «Иллюстрация» приобретением толикой славы?

Грустно ответить на этот вопрос начальными словами одного поучительного рассуждения, которого я теперь не помню, потому что учил его когда-то наизусть: «бывают геростратовы славы...»²²

Дальше не помню уже, но дальше и не нужно: смысл речи понятен из первых трех слов.

Да, слава «Иллюстрации» — геростратова слава. Я решительно подозреваю, что «Иллюстрация» давно

преследовала ту же цель, что и Герострат. Да и способ—то употребила тот же: Герострат сжег храм, а «Иллюстрация» напечатала статью, составляющую, по справедливому замечанию г. Чацкого, «жалкое отражение того зловещего огня, которым некогда зажигались костры на площадях Мадрита». Это отражение мадритского огня²³ «Иллюстрация» направила против евреев. (Знала против кого направить!) — и вам известно, что из того последовало: «всемирное обозрение» получило славу действительно всемирную... Не знаю, совершенно ли полны мои сведения; но вот главные из данных, мне известных. Г. Чацкий в «Русском вестнике», г. Горвиц в «Атенее», г. Фаддей Березкин в «Одесском вестнике» и может быть еще кто—нибудь — написали возражения на статью «Иллюстрации», которая была подписана «Знакомым Человеком». «Знакомый Человек» в ответ на их возражения написал, что они, конечно, *агенты жида N.*, который не жалеет золота для славы своего имени. После этого г. Чацкий обнародовал в «Моск. ведомостях» письмо к редактору «Иллюстрации», которого содержание заключалось в следующем:

Задеть мою амбицию
Я не позволю вам:
На вас, сударь, в полицию
Я жалобу подам.²⁴

Объявите, говорит, что вы отказываетесь от вашей наглой клеветы, а не то я в суд пойду. И в заключение прибавляет: поколотить бы, говорит, вас следовало, да это не так *гласно* было бы; так я для пущей гласности печатно об этом заявляю... «Обвинение, говорит, сделано было печатно, а следовательно и удовлетворение должно иметь

ту гласность, которой не доставило бы мне кулачное право».

Еще не успела «Иллюстрация» ответить на письмо г. Чацкина, как появился «Литературный протест», в котором излагалось обстоятельно все дело обвинения гг. Чацкина и Горвица в подкупе (о г. Березкине и других не упомянул Знакомый Человек) и затем говорилось: «Мы незнакомы лично с гг. Чацкиным и Горвицем и не имеем с ними никаких отношений. Но, проникнутые убеждением в высоком и нравственном призвании литературы,

20

мы считаем обязанностью самым положительным образом протестовать против таких злоупотреблений печатного слова, из органа мысли и гласности низводящих его на степень презренного орудия личных оскорблений».

Протест появился в 258 № «СПб. вед.», 25 ноября, и потом в 21 № «Рус. вест.», в значительно усовершенствованном виде; оба были подписаны многими лицами, составляющими гордость и украшение нашей литературы. До получения 21-го № «Русск. вест.» я все смеялся над «жидовской историей», считая дело неважным. Но, прочитав великолепный протест, перепечатанный потом во многих журналах и газетах, я понял наконец всю великую важность события, бросился отыскивать «Иллюстрацию», «Инвалид», статьи против «Знакомого Человека» в других журналах, — перечитал все это, выучил наизусть несколько фраз из статьи «Иллюстрации» и, почувствовав, что стою наконец в уровень с веком, решился сказать и свое слово об «Иллюстрации». Посылаю его к вам, потому что вы не так много, как другие, выказали азарта в этом деле, и след., можете с большим

хладнокровием выслушать мое мнение, которое у нас в провинции почти все разделяют.

Слово мое невесело. Признаюсь, я с тяжелым чувством пробежал длинный список лиц, протестующих против «Иллюстрации», а в ушах у меня почему-то раздавались в это время стихи из «Бесов».

Сколько их, куда их гонят?
Что так жалобно поют? и проч.²⁵

Зачем это, думал я, русские ученые и литераторы ополчились в крестовый поход для доказательства того, что клевета гнусна?... Неужели они полагают, что это еще предмет неизвестный или спорный для русского общества? Но тогда остается им бросить занятие наукой и литературой и уныло воззвать ко всем писателям: «братия! давайте плакать!»

В самом деле — литература ведь существует для общества, служит выражением его понятий, действует в среде своих читателей. Поэтому вам бы не следовало выпускать из виду, что в среде, окружающей вас, всегда есть известный общий тон, определяющий те границы, в которых вы можете и должны держаться при ваших словах и действиях. Новый человек, являющийся в чужую среду, тотчас поражает странностью, неловкостью, даже неприличием, если он не умеет сразу попасть в тон этой среды. Это происходит, разумеется, оттого, что в каждом кружке людей есть такие общие понятия и интересы, которые предполагаются уже всем известными и о которых потому не говорят. Странно бывает обществу образованных людей, когда в среду их вторгается рассказчик, не умеющий, напр., произнести ни одного собственного имени без нарицательного добавления, и говорящий беспрестанно: город Париж, королевство

Пруссия, фельдмаршал Кутузов, гениальный Шекспир, река Дунай, брюссельская газета «*Le Nord*»²⁶ и т. п. Вы знаете, что все его прибавки справедливы, вам нечего сказать против них; но вы чувствуете почему-то, что лучше бы обойтись без них. То же самое бывает и с нравственными понятиями. Вам становится просто неловко и совестно в присутствии человека, с азартом рассуждающего о негуманности людоедства или о нечестности клеветы. Одно из двух: или *сам рассуждающий* находится еще на той степени нравственного развития, которая допускает возможность рассуждений

21

и споров о подобных предметах, или он *вас* считает так мало развитыми, что полагает нужным внушить вам истинные понятия о людоедстве или клевете. И то и другое предположение одинаково вызывают вас на кислую гримасу, а в последнем случае вы можете даже обидеться и сказать нравоучителю: «Милостивый государь! объясните мне, чем я подал вам повод трактовать меня таким образом?»

Кажется, нет никакой надобности говорить, что «Литературный протест» против «Иллюстрации» не мог быть вызван первым из обстоятельств, на которые я указывал, т. е. нравственной неразвитостью самих протестовавших. Очевидно, что для них не мог быть спорным вопрос о том, гнусна или не гнусна клевета. Вследствие каких же побуждений они сочли нужным объявить самым положительным образом, что считают клевету презренной? Ясно, что это сделано для публики. Здесь-то мы, читатели, и видим самую мрачную, самую печальную сторону протеста. Что же это, в самом деле, —

неужели наше общество упало так низко, стало так развратно, дошло до такой шаткости в своих нравственных понятиях, что лучшие люди литературы должны наконец писать к нему воззвания и руководящие статьи, имеющие целью доказать гнусность клеветы? Неужели так ужасно безнравственны стали люди, что уцелевшая от всеобщего развращения горсть избранников может не краснея, с полным сознанием своего достоинства догматическим тоном величавого авторитета провозглашать всенародно, что признает клевету гнусною, — и радоваться тому, что находит себе полсотни или полтысячи единомышленников? Неужто до такой степени нравственного безобразия дошло наше общество и литература? Благородство духа познается в том, что человек признает гнусность клеветы! И он рад, что стоит на такой высоте нравственности! Он спешит воспользоваться удобным случаем, чтобы поведать об этом миру! Ужасно...

Но вы, господа *протестанты*, смотрите на дело с другой точки зрения. «На литературе везде и всегда *лежит обязанность* обличать бездоказательные посягательства на честь и доброе имя», — говорит петербургский протест с утонченной учтивостью цивилизованного джентльмена. «В лице гг. Чацкина и Горвица оскорблено все общество, вся русская литература. *Никакой честный человек не может* оставаться равнодушным при таком позорном поступке, и *вся русская литература должна, как один человек, с негодованием* протестовать против него». Так выражается протест московский, тоном несколько грубоватым, но зато выражающим широту русской природы. И вслед за предписанием: *должно протестовать с негодованием* (вспомните прописи: *дети должны горячо любить родителей*), следует подпись: *нижеподписавшиеся с негодованием* протестуют, и пр. Итак — вот в чем дело: эти

господа в своем негодовании просто исполняют *долг* свой, *обязанность*, лежащую на литературе. Признаемся, мы, простые смертные, темные провинциальные читатели, не совсем понимаем *негодование по обязанности* и даже осмеливаемся думать, что никакие законы в мире не могут налагать на человека обязанности в известных случаях негодовать, а в других приходить в восторг или умиляться. О нас вы можете сказать,

Что мы не ведаем святыни,
Что мы не любим ничего...²⁷

22

Но что ни говорите, а выражение: «*обязанность с негодованием делать что-нибудь*» ничего не возбуждает в нас, кроме смеха.

Но я постараюсь стать на вашу точку зрения, постараюсь смотреть на дело как *протестант*. Литература обязана обличать клевету... т. е. по-московскому — *клевету*, а по-петербургскому — «*бездоказательное посягательство*». Разница эта должна быть замечена: петербургский протест говорит: «Мы не знаем лично гг. Чацкина и Горвица и не имеем с ними никаких отношений»; значит, он не утверждает, что взведенное на них обвинение несправедливо, он предполагает возможность правды в словах «Иллюстрации» и протестует только против *бездоказательности* обвинения. Московский протест имеет другой мотив; он говорит: «Иллюстрация» позволила себе *не просто бездоказательное обвинение, а клевету*, тем более возмутительную и наглую, что не представлялось ни малейшего повода к ней». Московский протест имеет, очевидно, положительные сведения,

которых не имел петербургский. Жаль, что он не поделился ими с читателями; тогда бы дело обошлось проще. Но оставим это: дело не в сведениях, а в обличении... Итак — литература обязана обличать клеветы. С этим нельзя не согласиться. Действительно, все, являющееся в печати и подлежащее гласности, должно находить в литературе отзыв и в случае нужды опровержение и обличение. Так точно поступки чиновника находят себе суд прежде всего в его сослуживцах, деяние офицера — в однополчанах, купца — на бирже и т. д. Представим же, что я поймал моего товарища—чиновника в то время, как он брал взятку; на мне лежит обязанность обличить его перед общим судом; но обязан ли я, рассказав его поступок, прибавлять: «Господа, я признаю это неблагородным, с негодованием протестую против этого и думаю, что вы тоже должны с негодованием протестовать». Кажется, обязанность последней прибавки никакой нравственный закон на меня наложить не может, а чувство деликатности пред сослуживцами должно даже удерживать от нее. Вообще, если я поймал вора, убийцу на улице, обязан ли я, приведши его в суд, провозгласить, что считаю его поступок нехорошим? Сколько мне известно, нигде и никто этого не делает. При публичном производстве судебных дел в развитом нравственно обществе отовсюду сами являются к суду свидетели и все люди, имеющие что—нибудь сообщить по делу. Но где же являются в суд люди с криками: «Я протестую против преступления и от вас требую того же! Я считаю его дурным и неблагородным поступком, и все вы должны провозгласить, что со мной согласны». И вслед за тем раздаются вопли: и я тоже! И я тоже! И я тоже!..

Таким образом, *обязанность обличения* я не считаю исполненной в протесте. Если уже решились обратить серьезное внимание на глупо—наглую фразу и формально придать ей значение клеветы (чего вовсе не требовалось),

то клевету следовало опровергнуть представлением положительных доказательств правоты обвиняемых. Но дело в том, что публика вовсе и не думала принимать эту действительно гнусную фразу серьезно. Мало того, сам г. редактор «Иллюстрации»²⁸ хотя в своем ответе на письмо г. Чацкина и выказал замечательную скудость сообразительности, отвергая прямой и вполне ясный смысл напечатанной им фразы, но тем не менее *от намерения оклеветать* гг. Чацкина и Горвица решительно отказался. Оставалось, следовательно,

23

только *бездоказательное посягательство*. Но оно могло быть достаточно обличено пред публикою простым указанием на фразы «Иллюстрации» и перепечаткою письма г. Чацкина или, еще лучше, только той части его, в которой не говорится о судебном преследовании и кулачном праве. Вы в «Современнике» почти так и сделали²⁹: но вы уж и это сделали напрасно: довольно было раз где-нибудь заметить эту фразу; что же носиться-то с ней, как с каким-нибудь сокровищем? И во всяком случае, кроме простого указания для публики ничего больше и не нужно было. Негодовать или радоваться следовало, это она могла и сама понять, точно так, как судья, к которому притащили вора с поличным, поймет, что его не по головке гладить следует. Бывают, правда, и такие судьи, что воров по головке гладят, да что уж это за судьи? Я бы к таким и судиться и не пошел.

«Но мы это вовсе не для публики делали, а для самого дела», — возражаете вы, господа *протестанты*. Отлично! Но к кому же вы обращались-то, перед кем протестовали? Ежели вы сделаете хоть малейший намек на то, что

публику в этом деле отстраняете, то вы заставите нас же, читателей, вспомнить эпиграмму Пушкина: «Обиженный журналами жестоко...»³⁰ А нам этого не хотелось бы.

Я, впрочем, убежден, что протестанты даже и не думали о том, чтобы хотя один стих этой эпиграммы мог быть к ним приложен. Если некоторая применимость и имеет здесь место, то уж, верно, вышло это не от умысла, а скорее от недогадливой опрометчивости протестовавших. А в душе своей они неповинны ни в каких злоумышлениях. Даже напротив — вот как они выражаются о своем протесте: «Такой общий протест будет самым лучшим удовлетворением чести оскорбленных лиц и самым лучшим доказательством здоровья *той общественной среды*, которая собственным свободным актом поражает и отменяет всякое недостойное дело».

Не знаю, как вы лично на это смотрите; но от себя замечу (вовсе не для того, конечно, чтобы учить протестантов началам логики), что в заключении немножко больше сказано, чем в посылке. По логике, если в среде людей окажется один человек, страдающий заразной болезнью, и все его начнут с воплями гнать от себя или сами с шумом и криком побегут от него, — то из этого нельзя вывести прямого заключения о том, что вся эта гнавшая или бежавшая среда — здорова. Скорее даже можно вывести заключение противное: известно, что больные бывают всегда раздражительнее и мнительнее здоровых.

Это я, впрочем, мимоходом заметил; спешу оговориться, чтобы не упрекнули меня, что я придираюсь к словам и не умею понять метафоры (метафора же, на беду, вышла не совсем удачною). Стараюсь снова стать на протестантскую точку зрения и перевести слова протеста на обыкновенный язык. По-моему, они имеют такой смысл: «Протест против «Иллюстрации» должен показать, что литераторы сами

умеют беречь литературу и всегда готовы обличить, заклеить, опозорить того, кто из среды их решится на гнусный поступок. Все недостойное до такой степени им чуждо, что они не могут удержать своего негодования при виде позорного поступка и изливаются стремительным потоком протестов и обличений». Если принять слова протеста в таком смысле, то следует заключить, что русская литература

24

с сего дня принимает на себя высокую, хотя и тяжкую обязанность — на каждое безнравственное явление литературы отзываться, что *«это не хорошо»*. Труд похвальный, но весьма изнурительный, если на каждый раз нужно будет тратить столько негодования, сколько на этот раз потрачено его против «Иллюстрации». Кроме того — труд этот на практике окажется совершенно неблагоприятным, вследствие бесконечного разнообразия форм, под которыми может укрываться подлость³¹ и злонамеренность (и чем подлее, тем укрывается искуснее)... Нас, публику, возмутила, напр., статейка, в которой Иванов обвинялся как туineaдец, даром бравший пенсию за то, чего не умел сделать³²; но теперешние протестанты молчали. Нас возмутила, напр., выходка в 239 № «СПб. ведомостей» против «Русской беседы» какого-то г. Н. Н.³³, который сделал такую заметку: «помещая статью «Модный чиновник», напрасно редакция «Беседы» боится, что враждебные ей журналы и газеты обвинят «Беседу» в том, что она вступает за взяточничество и за старых подьячих»... С какой это стати вздумалось «Беседе» делать такую неуместную и ничем не вызванную оговорку? разве по пословице, что «на воре и шапка горит!» («СПб. в.»,

1858 г. № 239, стр. 1401). Протестантов это не возмутило. Выходки разных листков, называвших надувалами и мошенниками издателей «Весельчака», выходки самого «Весельчака», купно с «Сыном отечества»³⁴ никого не возмущали. Отчего же это? неужели так будет и впредь? Вы скажете, что то уж не литература, что на то не стоит обращать внимания. Да позвольте, однако ж, ведь то и другое — равно *печатное слово*. Да и чем же какой-нибудь «Знакомый Человек» лучше какого-нибудь г. Нестерова, Львова, Ижицына³⁵ и т. п.?.. Можете сказать нам словами московского протеста, что там были «просто бездоказательные обвинения, просто недостойные намеки, которые могут вырваться в жару спора у человека, увлеченного фанатизмом мнения или не вполне развитого в нравственном отношении». Да ведь это значит, что вы уж гоняетесь за словами. Значит, по-вашему не следовало бы протестовать, и все дело изменилось бы, если бы «Иллюстрация» выразилась, напр., таким образом: «наша статья вызвала, конечно, оппозицию со стороны агентов г. N, не жалеющего золота для своего прославления... В литературе такую оппозицию представили два (без всякого сомнения в высшей степени бескорыстные!) еврейские литератора — гг. Чацкий и Горвиц». Смысл остался бы тот же, но клеветы бы не было, а оставался бы только *недостойный намек*. То же бы слово, значит, да не так бы молвил. Весь этот шум, видите, поднялся из-за того, что человек не сумел выразиться, как следует, потому что такими «способностями бог его не наградил». *Usus practicus** протеста, стало быть, заключается в следующем: «умей воровать, да умей и концы хоронить».

Да что уж... если на то пошло, то я представлю сейчас такую вещь, которой и концы-то были в руках протестантов — и они все-таки промолчали.

* Практика, обычай (лат.) — Ред.

Еще раньше, чем обвинять г. Чацкого и Горвица, «Знакомый Человек» обвинил в подкупе какого-то французского фельетониста. В № 35 «Иллюстрации» он написал, что *N* «так повел дело между парижскими журналистами, что в одной газетке превознесли государственные заслуги его» («Ил.» 35, стр. 157).

25

Может быть, и тут был *только* недостойный намек; но г. Чацкий, сам Чацкий! — потрудился растолковать его и, нимало не возмущаясь бесцеремонным обращением «Знакомого Человека» с печатным словом, напечатал в ответ ему в «Русском вестнике» следующее: «Положим, что г. *N* действительно разбогател нечестными путями и потом стал *покупать себе незаслуженные похвалы во французских газетах*, — что же из этого можно вывести, и пр. («Р. В.», № 18, стр. 134). После этого в 47 № «Иллюстрации» г. редактор ее подтвердил, что действительно французский фельетонист «был, вероятно, подкуплен г. *N* для прославления его имени во французской газете» («Илл.», № 47, стр. 351). Вот тут бы уместнее было воскликнуть: «мы не знаем французского фельетониста, но на литературе всегда лежит обязанность», и пр. А протестанты (тут уж вас лично я не имею в виду) даже в протесте своем перепечатали («Р. В.», № 21, стр. 132) из статьи г. Чацкого те слова, в которых он повторяет недоказанное обвинение. И не подумайте, чтобы эти слова перепечатаны были с целью выставить новый позор «Знакомого Человека»; вовсе нет, — и г. Чацкий и все протестанты смотрят на это последнее обвинение совершенно спокойно, даже как будто не замечают его... Что же это значит? Они взялись очищать

русское печатное слово, отмечая все недостойное, и с первого же раза показывают такую слабость!..

Они думают, кажется, что и одного разу довольно. Казним, дескать, «Иллюстрацию» в пример современникам и потомкам, другие-то и побоятся. «Да послужит этот протест, — манифестальным тоном говорят они, — примером и предостережением для будущего и да оградит он навсегда нашу литературу от подобных явлений». О, боже мой! Зачем я должен разрушать приятное заблуждение людей, говорящих манифестальным тоном? С душевным прискорбием извещаю вас, гг. протестанты, что протест ваш не послужил... и не предостерег... и не оградило... В 47 № «Иллюстрации», 27 ноября, через день после появления вашего первого протеста, г. Вл. Зотов объявил, что позорная фраза, на которую вы указываете, «относится не прямо к г. Чацкину, а к г. Горвицу и другим». Пишите новый протест, господа, и постарайтесь, чтоб он был сильнее прежнего... Правда, за г. Горвица вы уж протестовали, вступаясь за г. Чацкина; но теперь за *других* — надо восстать. Повторите всенародно, что хотя вы *других* и не знаете (уж конечно — не знаете), но что неуважение печатного слова признаете неблагородным. — Непременно, господа, протестуйте. Ведь никакой честный человек не может «оставаться равнодушным при таком позорном поступке»! изливайте же скорее ваше негодование... Иначе г. Вл. Зотов с «Знакомым Человеком» будут торжествовать и смеяться над вами!

Но что я говорю «будут». Они уже торжествуют, они уже смеются. Между тем как вы истощаете все силы души своей на уверение нас, невежд и дикарей, в том, что клеветать гнусно; между тем как вы находите себе полтора десятка единомышленников, с важностью повторивших ваше замечательное мнение, — г. Вл. Зотов не дремлет: он торжественно объявляет, что вы все подкуплены! В

корреспонденции 50-го № «Иллюстрации», 18 декабря, он напечатал:

«Г. Ф — у. Мы весьма благодарны вам за известие о происках N в Москве и никогда не сомневались в том, что дело это не совсем бескорыстно

26

со стороны лиц, толкующих единственно о *невещественной стороне* вопроса. Всякий понимает, что излишняя настойчивость делается ребячеством или *имеет свои выгоды* в том, чтобы тянуть дело, уже разъясненное».

Как вам нравится, господа протестанты, этот *поступок* г. Вл. Зотова? Неужели вы не повторите друг за друга, с вящшею силою, что «хотя вы друг друга и не знаете и не имеете между собою никаких отношений, но что честь печатного слова и пр. ... как известно». Нет, господа, это будет уж непростительная слабость с вашей стороны. Подумайте, что из 150 имен, составляющих вашу фалангу, по крайней мере 77 есть таких, о которых мы, публика, ровно ничего не знаем, и которые, следовательно, нуждаются в вашей защите не менее гг. Чацкина и Горвица... А ведь г. Зотов всех повально обвиняет. Не боясь ни кулачного права, ни судебного процесса, ни публичного позора, он стоит на своем, и знать ничего не хочет. Даже таинственные незнакомцы, появившиеся в «Русском вестнике»³⁶, не пугают его. Не говоря уже о гг. Вольском, Михалкине, Чарыкове, Савурском, Подчаском, Млодзеевском, Дзюбине и т. п., сам князь Шаликов, сам Ф. Тимирязев, сам Я. Ростовцев, даже сам Я. Борзенков, даже больше — сам г. Мантейфель не устрашают его*. Да что уж говорить о единицах! Даже двукратно и троекратно

* Все означенные фамилии не вымышлены, но действительно находятся в списке лиц, протестующих против «Иллюстрации» в «Русском вестнике».

повторенные незнакомцы не производят на него ни малейшего впечатления. Он совершенно равнодушно смотрит на то, что против него подписываются *Д. Хомяков, И. Хомяков, С. Хомяков* (отчего же тут нет *А. Хомякова?*)³⁷, и даже сами гг. *Милеанты* (*В. Милеант* и *Е. Милеант*) едва ли произвели на него особенное впечатление. Видно, что у него кременный характер! Другого бы, кажется, слеза прошибла... Да, признаюсь, мне самому было сначала трогательно, во-первых, потому, что я видел все-таки великое *общее дело*, которым наши потомки поминать нас будут; во-вторых, мне приятно было заметить, что у нас уже некоторые понятия нравственные выработались и установились до того, что в принятии их сходятся люди всех партий и направлений, — г. *Кавелин* с гг. *Никитой Крыловым, С. Шевыревым* и *В. Лешковым*, г. *Чернышевский* с *Ф. Булгариным*³⁸ и г. *Н. Львовым*, и пр. и пр. Кроме того, мне и вообще было приятно узнать, что, напр., гг. *Милеанты, В. Милеант* и *Е. Милеант*, — не одобряют клеветы, равно как и гг. *А. Арсеньев* и *И. Арсеньев, А. Наумов* и *Д. Наумов*. Мне казалось, что со стороны, напр., г. *Ф. Тимирязева, М. Ранга, Э. Циммермана* и т. д. было очень благородно и отважно выступить перед публикою с заявлением своего негодования против поступка «*Иллюстрации*». Но г. *В. Зотову*, по-видимому, вовсе нет нужды до того, что о нем думают гг. *Милеанты* и сам *А. Мантейфель*. Надо на него напустить кого-нибудь пострашнее да побольше. А странное дело, в самом деле, список-то с виду страшен и велик; а как всмотришься, так в нем ужасно многих из известных в литературе имен не досчитаешься: все больше господами *Милеантами* наполнен. Неужто же остальные-то одобряют г. *Зотова* и поступок «*Иллюстрации*»? Отчего же они не заявили своего согласия? Или вопрос надо иначе оборотить и

спросить: по каким же, наконец, побуждениям именно эти 150 человек поспешили обнародовать свое благородное

27

мнение о поступке «Иллюстрации»? Сама «Иллюстрация» говорит, что все подкуплены, и это должно заставить вас напустить на г. Зотова с новой силой!.. Клич кликните, да откройте особый отдел во всех журналах для помещения имен, протестующих против «Иллюстрации». Наберутся, авось!... А то ведь нехорошо, если вы ослабеете, замолчите и оставите поле битвы г. Зотову и «Знакомому Человеку»: как раз какой-нибудь насмешник (мало ли их на свете) вдруг приложит к вашим деяниям, совершенным доселе, слова Репетилова, помните, когда он говорит Чацкому между прочим:

Литературное есть дело...

Оно, вот видишь, не созрело...

Нельзя же вдруг...³⁹

Перед этими стихами есть еще несколько таких⁴⁰, что я не видывал человека, который бы не покраснел, когда их к нему применяют... А их к вам применяют наверное, если вы теперь отступитесь от своего дела: теперь уж надо доканчивать.

Ваше дело еще не доделано до сих пор.

Но все-таки вы, разумеется, поступили благородно: не имея силы казнить умных и грамотных господ, искусных на прикрытие своих злостных и бессовестных клевет, вы облегчили свое сердце, напав по крайней мере на то, что вам по плечу, — на малограмотного, плохо владеющего слогом писаку, который, желая уколоть противника,

сказал больше, чем сам, может быть, хотел... И то хорошо и благородно!.. Притом же вы защитили г. Чацкого. Он должен быть вам благодарен. Только — знаете ли что? — я вспоминаю, по поводу всего дела об «Иллюстрации», одну сцену из рассказа Тургенева «Чертапханов и Недолюкин»⁴¹. Помните, когда над Недолюкиным начинает глумиться какой-то нахал, и среди общества, потешающегося смущением забитого Недолюкина, раздается резкий голос Чертапханова: «перестаньте, стыдно», и потом Чертапханов заставляет нахала извиниться пред собою и пред Недолюкиным... Нет сомнения, что Чертапханов поступил храбро и благородно... Недолюкин должен был быть очень счастлив, что нашел такого прекрасного заступника... Но, — не знаю, как вы, гг. протестующие литераторы, — а я не завидую находке Недолюкина, я бы не желал быть на его месте. Даже скажу больше — мне было бы неловко поставить кого-нибудь в положение Недолюкина. Недолюкин всю свою жизнь был жертвою и шутком, его самолюбие нимало не оскорбилось заступничеством Чертапханова. Но встречаясь в обществе и литературе с людьми, которых я считаю равными себе, я едва ли решусь принять на себя роль Чертапханова — частию из деликатности пред этими людьми, частию из уважения к самому обществу и литературе...

Впрочем, и то сказать — я-то о чем растолковался? Самому доведись на вашем месте быть, так ведь тоже бы подписал... Да и как же уклониться от такого дела, в котором, по объявлению протестующих, всякий честный человек *должен* участвовать? Ведь это значит расходиться с честными людьми ... так зачем же с честными людьми расходиться? Отчего им не сделать угодное? Ничего, можно... Если бы меня хороший человек стал допрашивать о вещах, всем известных, и уверять, что я *должен* ответить,

так отчего же и не ответить? — Волжский ли разбойник был Стенька Разин? — Волжский! —

28

Золото дороже ли серебра? — Дороже! — Должно ли поощрять разбой на больших дорогах? — Не должно! — Гнусно ли поступила «Иллюстрация», оклеветав гг. Чацкина и Горвица? — Гнусно. — Следует ли желать, чтобы таких явлений в русской литературе не было? — Следует. — Протестуете ли с нами против поступка «Иллюстрации»? — Протестую, самым положительным образом протестую, — воскликнул бы я вдохновенно и подмахнул бы свою фамилию...

Ставши на такую точку зрения, я дохожу до того, что даже вообще одобряю протест.

Но я все-таки чувствую, что мое легкомысленное обращение с вопросом такой важности должно вызвать на меня бурю, от которой уже ничто не спасет. А ведь все отчего? Оттого, что я лишен способности представить себе стакан воды в виде моря... Ах боже мой! Что только со мною будет? Что заговорят обо мне гг. Милеанты? Г. Пикулин что скажет?

Ах, боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна?...⁴²

Примите, милостивые государи, и пр.
Д. Свиристелев.

Нижний Новгород.
30 дек. 1858 г.

29